

Часы в дальней комнате

В дневных сумерках наглухо задёрнутых штор, в прочной тишине, которая напрочь заслоняла звуки летнего приморского города, в воздухе, густом и страшном, что-то тихо и назойливо пульсировало, нагло беззвучно стучало, мешало ей исчезнуть. Она подняла голову, чтобы поправить прядь волос — и замерла. Зеркало было занавешено тяжёлым тёмным покрывалом. Угол комнаты за комодом, там, где штора отставала от рамы окна, горел горячим огнём, который тоже пульсировал, наливался белым, почти синим светом, затем слабел до оранжевого: это где-то над крышами к морю шли облака. Пульсировало же, мешало ей забыться, забыть себя, забыть кто она, а главное, что случилось, её сердце. Оно шло, как идут часы в дальней забытой комнате, в комнате, в которую никто не заходит, которая пахнет тёплой пылью, старыми газетами и немного — духами, которых давно нет в продаже.

Он лежал спокойно, что с ним случалось редко, в белом мятом льняном костюме. Верхняя пуговица рубашки стягивала горло. Загар всё ещё был сильнее больничной бледности, волосы, гладко зачёсанные назад, блестели, как тому семнадцать, когда она увидела его в первый раз в том крошечном баре в порту, где всегда играла какая-то восточная музыка, не то греческая, не то магрибская, и кисло пахло анисом, чёрным табаком и нагретой на солнце парусиной. Глаза — всегда смеющиеся, никогда серьёзные, и эти гладко зачёсанные назад, блестящие, словно он только что вышел на берег, всё ещё отряхиваясь, смеясь, показывая крупные зубы, — глаза и волосы она заметила потом. Первое, что она увидела, и что остановило её блуждающий взгляд, были его руки. Они жили сами по себе, как две птицы, выпущенные на оцинкованную стойку бара. Если бы он был с севера, можно было бы предположить, что загар натянут на него как перчатки. Но кожа была живая, пальцы жили сами по себе, поигрывали стаканом с перно, стряхивали на пол пепел сигареты. На среднем левой горело кольцо. Когда она подняла глаза и взгляды их встретились, она была поражена его молодостью. Руки были гораздо старше.

На самом деле лишь возраст рук соответствовал его паспортным данным. Его лицо и его тело всегда опаздывали со старением. Лишь глаза иногда забывали смеяться — и тогда, особенно если он подносил сигарету к лицу, она знала, что ему не двадцать семь, а сорок один.

Глухо, словно из-под воды, прозвенел звонок в коридоре. Она встала, одёрнув складки платья, не чувствуя тела, вышла в коридор — солнце било, как из гигантской пробоины, через окно кухни, — дошла до двери. Ещё один гигантский сноп цветов. Два кивка, крепко сжатые губы. Мокрый круглый взгляд.

Она оставила букет на кухне, открыла холодильник, вынула бутылку воды. Стакан был тяжёлым, как и вода, которая ртутью, с трудом, сглатывалась.

Она вернулась в комнату, опустилась в кресло. Гроб стоял на шести стульях. Так захотела она. Обеденный стол был слишком высок, был бы виден лишь его лоб и эти, почти до сих пор синие, волосы.

Впервые в жизни память не подсовывала ей, как бойкий ювелир в лавке, мелкие детали их жизни. Все семнадцать лет лежали перед нею, как один, залитый солнцем, пейзаж. Она смотрела на него, как в детстве, с первого витка горной дороги на родной город, ещё близкий, уже далекий, в дымке тумана, идущего с моря, неплотного, но в котором застревали длинные солнечные лучи.

На какое-то время она забылась. Часы в дальней комнате перестали тикать, и, когда она открыла глаза, в углу за комодом шевелилась вечерняя тьма.

Она долго, не понимая, смотрела на его лицо, на сложенные на груди руки. Ей хотелось встать, распахнуть окно, увидеть черепицы крыш, на востоке еще горящие, на западе — синие, почти чёрные, увидеть море и бухту, и молодую луну, и ветви платанов, скрывающие тротуар и прохожих...

Впервые за три последних недели ей стало больно — непонятно где, скорее всего везде, повсюду, где она была ещё жива.

Она посмотрела на него ещё раз и поймала себя на том, что улыбается.

Встав, она, опустив голову на грудь, поправила тяжёлый пучок волос, вытащила из букета в ногах одну белую розу, оборвала стебель и вколола её в волосы.

В спальне она сдёрнула с зеркала старую кастильскую шаль и взглянула на полнеющую, всё ещё молодую женщину, которая смотрела ей прямо в глаза. На ощупь она нашла на столике серёжки, потом жемчужную нитку. Губная помада была почти чёрной, но и она сама, шея, плечи под платьем — всё тело было отполировано солнцем раз и навсегда. Её духи были его духами, его подарком. Она поискала в ящике трельяжа, нашла старый флакончик «Герлена»...

В коридоре она впервые услышала свои шаги. Шпильки что-то втыкали в паркет, вбивали, царапали его.

Она взяла его машину, его старый quate-quate. До соседнего городка, до порта и морской базы было минут двадцать по верхней дороге.

* * *

Но в порт она не поехала, а свернула к эспланаде, к веренице отелей, к огненной реке, лавой сползавшей в море. В «Ривьере» она прошла мимо шумной

террасы, мимо трёх рослых цыган в распахнутых белых рубахах и чёрных джинсах в обтяжку, наяривавших — как и год назад, как и пять лет назад — «Vamboleo!», мимо стайки кланявшихся японцев в тёмных костюмах и с «атташе»-кейсами, мимо местного художника, известного всей планете, лежавшего в шезлонге на газоне с хайболом в руке, и в баре, в самом дальнем тёмном углу села на высокий табурет и заказала водку-тоник. Через полчаса она поднималась в лифте с веснушчатым широкоплечим американцем, который мусолил ей шею и сильно сжимал груди. Номер выходил окнами на эспланаду, за которой, из-за света фонарей, лишь угадывалось море.

Она разделась первой. Он вернулся из ванной с мокрым полотенцем вокруг бёдер — весёлый, смешной, мускулистый, знавший, хвала небесам, на местном языке лишь с десяток слов...

* * *

Она возвращалась той же дорогой, поворот за поворотом. Светало, и она выключила фары. Её родной городок, как в детстве, лежал внизу, всё ещё укутанный тёплым утренним туманом, который сползал, как легкое одеяло...

Она долго стояла под душем, никуда не глядя, ни о чём не думая.

В халате, с распущенными мокрыми волосами, босиком, она вошла в комнату. Затхлый запах цветов был невыносим. Она прошла мимо занавешенного зеркала, распахнула шторы, рывком открыла большое окно... Морской воздух хлынул ей в лицо, ударил в грудь. Совсем рядом, в ветвях платана возились разбуженные дрозды. На соседнем балконе сидел, зевая, рыжий кот.

Медленно, словно это было очень далеко, так далеко что нужно было ждать и ждать, из глубины, из самой её сути пошли сначала мелкой рябью, а затем крупной волной всё ещё беззвучные судороги — и она, давясь, зарыдала сначала в рукав халата, сплющивая лоб, вжимая лицо всё сильнее, а потом подняв голову к светлеющему небу, так что слёзы текли по лицу, попадали в рот, струились по шее, груди и животу.

Теперь, наконец-то, она могла дать волю слезам — словно вернулась туда, откуда её вышвырнула смерть, словно случайная встреча вернула ей тело.

2004

Вокзал, на котором не останавливаются поезда

— Мальчик мой...

Это она мне — в мои сорок пять — она, которой девятнадцать исполнилось на прошлой неделе!..

— Мальчик мой! — с её этим непонятым акцентом.

Полька она, что ли? Эстонка?

Она не хочет говорить ни о чём кроме того, что происходит. Сейчас происходит.

Прошлого нет, говорит она, если есть настоящее. Если нет настоящего, есть лишь прошлое. Да надежда на будущее. Прошлое тогда прямо повязано на будущее. А настоящее — это как вокзал, на котором не останавливаются поезда...

* * *

Мы живём с ней на вокзале. Мимо грохочут, струятся, ползут поезда. Из прошлого в будущее. Из будущего назад в прошлое. По вагонам ходят контролёры, проверяют билеты из позавчера в послезавтра. Ссаживают на полустанках тех, у кого жирно проставлено «сегодня».

Сегодня. Я не знаю, какой нынче день. Месяц. В нашем настоящем нет дат. Нет этих вех, отметок, шрамов. Всё залито светом южной осени. Дрожащим пузырчатым солнечным светом. Ночь наступает только тогда, когда мы засыпаем. Посередине вокзала. На широкой с колокольчиками постели. Из свалки одеял и подушек видно окошко кассы. Старушки кассирши давным-давно нет. Она раз-мечталась о поездке к внуку в Гренобль — и её сдуло вместе с сумкой и зонтиком прямо со старого деревянного кресла с прямой и пустой теперь спинкой.

Когда живёшь в настоящем, учит она меня, нельзя мечтать. Даже маленькая, крошечная как кузнечик мечта может вышвырнуть тебя куда-нибудь в Дижон или Лежж. А уж тогда тебе придётся лишь вспоминать меня да мечтать вернуться на этот вокзал... Но ты же знаешь: поезда здесь почти никогда не останавливаются.

* * *

Иногда мы гуляем по платформе. Пахнет нагретыми шпалами, мазутом и распахнутым пространством. Даже на самом безмянном, затерянном полустанке пространство распахнуто, а время пугливо. Каждая маленькая станция, какая-нибудь дурацкая пригородная остановка, сразу же от дверей зала ожидания, от края платформы переходит в вечность. Вот отчего так тянет некоторых шагнуть с платформы под налетающий поезд. Вечность, это отсутствие времени, засасывает, как чёрная дыра.

С детства я любил этот, летящий впереди локомотива, ветер: вздымающий волосы, тепло бьющий в лицо, пропитанный запахами придорожных трав. Нет ничего более непохожего, несхожего, друг другу противоположенного, даже враждебного, чем этот толкающийся ветер и вокзальные часы. Большой пыльный циферблат с двенадцатью цифрами — и этот, платформу подметающий, весельчак. Живущий между станциями, если ему лишь два-три сезона возрасту. Крепкий и мускулистый, если он работает на линии несколько лет. Мощный, иногда беспричинно злой, покашливающий после скрипа тормозов ветеран, редко останавливающийся на пути между конечными станциями. Есть, конечно, ещё и воруяга,

эдакий проходимец с международных линий. Этот задирает юбки, шлёпает по щекам, лезет в карманы, сбивает шляпы. Он пахнет морем и чабрецом, цветущим лимоном и мускатным орехом...

Но это для тех, что проездом из вчера в завтра и обратно.

Ветер летит вдоль нашей платформы, распустив рукава, мимо, свободно, а за ним вдогонку грохочет какой-нибудь скорый, спешит, торопится так, что и прочитать-то — откуда он и куда — невозможно.

Да и не нужно, говорит она. Когда двое любят, чем больше они любят, тем меньше власти над ними имеет время. Оно оставляет им лишь свою сердцевину, лишь узкое звенящее магнитное поле, а широкие равнины бывшего и далекие горы будущего оно оставляет всем тем, кому не под силу любить. Ведь это трудно — любить. Трудно быть жидким, постоянно перетекать в другого и обратно. Тот, кто устанет первым — затвердевает. Почти все люди — дезертиры любви. Они её не выдерживают, удирают в самоволку, отказываются жить на одной единственной напряжённой гудящей ноте. Просят перерыва. Обещают вернуться. Они не знают, что в любовь нельзя вернуться. Что она не бывает второй раз... Она может быть другой, если повезёт. Ещё более грандиозной на ещё более пустынном, солнечными лучами изрешечённом вокзале. Но чаще всего она идёт на убыль, если вообще случается повторно. От вокзала тогда остаётся какой-нибудь задымленный «голуазом» угол, какая-нибудь каменная скамейка. И сквозь дым и грохот наверняка будут видны простые смертные — с чемоданами и рюкзаками, с кричащими детьми и ноющими стариками. Будет нести растворимым кофе из недалёкого буфета и подгорающим хлебом...

* * *

Иногда, когда она спит, разметав по подушкам иссиня-чёрные волосы, я смотрю на её розовую шею и влажную после любви грудь и осторожно, чтобы не пустить волну в сторону прошлого, вспоминаю, как мы оказались здесь.

Ни она, ни я друг друга не знали. Я собирался в Арль, у неё был билет до Парижа. Вокзал гудел как гигантский улей, сквозняки гуляли по всем направлениям, подъезжали такси, скрипели нагруженные багажом тележки, хлопали двери, хрипел динамик над кассой... Ты что-то спросила, я что-то ответил. Мы стояли под гигантской картой страны, по которой цветными огнями бежали поезда. Внизу было море, на западе океан, наверху — Ван-Гог и ещё дальше — фиорды. Я взял тебя за руку, ты подняла блуждавшие до этого по сторонам глаза. И народ стал покидать вокзал, уходить, оборачиваясь на нас, иногда весело, иногда утрюмо оглядываясь. Поезда налетали всё чаще, забирая, откачивая людей с платформ...

Потом остался лишь станционный смотритель в форменной фуражке, с флажком под мышкой. Он внимательно осмотрел дверцы камеры хранения, на всякий случай запер своим ключом открытые, прошёл в двух шагах от нас — и мы услышали его: «Так-так...» Он вышел в город и пошёл по направлению

к далёким мрачным домам, и все такси потянулись за ним, и лишь в кассе осталась старушка со своим вязанием и дурацким телефоном из прошлого века, по которому она и сообщила, что не прочь повидать внука в Гренобле... И тут её и сдуло.

Было тихо, как в церкви. Новый чистый воздух наполнил своды, цикада попробовала лапкой тишину, цветным вихрем промчался скорый... Запахло недалёким югом, приморской хвоей и розмарином...

* * *

Я не знаю, сколько времени мы здесь. Часы идут, но так, что кажется, что они стоят на месте. Кровать, на которой ты спишь, мы выкатили из коридора багажного отделения. Она была застелена тремя шёлком стёганными одеялами чёрного с фиолетовым цвета. Такими же переливчатыми были и простыни, и твоя нагота на них была ещё бесстыднее и ещё невероятнее, чем просто под этим пустым куполом. Ты уверяла меня, что пока мы способны переливаться друг в друга, друг друга любить, никто не войдёт, никто нас не потревожит и поезда будут лететь мимо и мимо, словно над самим вокзалом гигантскими буквами выведен какой-то строжайший запрет.

Но я знаю, что всему настаёт конец. Любовь может быть больше жизни. Но тогда она должна с этой жизнью расстаться. Она не может быть в меру этой жизни, один к одному. Такого не бывает. Разве что в романах или в опере, а это враньё. Всё остальное — подделки разного сорта. Мы все, на самом деле, фальши вомонетчики. Мы всё пытаемся отлить из меди со свинцом этот тяжёлый луидор.

Поэтому я уже могу сказать, как всё кончится. Сначала раздастся скрип высокой двери. Запахнет городом, дождём и бензином. Потом мы услышим шаги. Если придут за тобой, это будут тяжёлые шаги уверенного в себе мужчины. Если за мной — медленная дробь каблуков, от которых кровотоцит камень. Он возьмёт тебя за руку или она посмотрит мне в глаза, щёлкнет окошко кассы, и — в вихре, в огнях, с грохотом — у платформы «А» остановится поезд. Все шесть дверей распахнутся одновременно, толпа хлынет сплошным потоком, разгорячённая потная толпа. Застучат по камню колёса чемоданов, весело засмеётся смуглая карлица, войдёт и станет под карту рослый полицейский. Захрипит над кассой динамик, одна за другой подкатят машины такси.

И плотная эта толпа пойдёт на нас, а потом сквозь нас, потому что для всех остальных мы всё ещё не существуем, нас всё ещё нет, мы лишь начали затвердевать, вылепливаться из нашего прошлого, уплотняться под усиливающимся давлением наших биографий, того, что с нами было раньше, но ещё больше — того, что с нами будет.

И узкий зазор между секундой, ушедшей в прошлое, ставшей бывшей, и той, что всё ещё собирается набежать, с металлическим скрежетом скроется между двумя блестящими вертикальными лезвиями.

Три сестры в вишнёвом саду дяди Вани

— Пап, — говорит она, — ну пойдём! Они там тебя все ждут!

— Ласточка, — говорит он ей, опуская лысеющую голову, — бог с ними... Ты, если хочешь, иди, а я посижу здесь.

— Ну, ты совсем спятил! Ведь это же премьера! Твоя премьера!

— Ну, а мне всё равно. — Он рассматривает узоры на мраморе столика. — Я же сам это написал, значит, знаю, все прогоны видел, актрис видел, актёров видел, с главным пил, с машинистом сцены тоже...

Через окно «Швейцарца» виден служебный вход театра и кучка народа в дверях. Пока они, лениво рассматривая прохожих, курят, всё нормально. Значит, и второго звонка ещё не было.

Он поднимает глаза: даже сидя за столиком, она на две головы выше его.

— Ты специально горбишься, чтобы быть поменьше? — спрашивает он.

— Ты опять? — Она улыбается своим огромным ртом щелкунчика.

— У тебя пусто в стакане... Хочешь ещё?

Не дождавшись её кивка, он поднимает руку. Франсуа стоит к нему спиной, вытирая салфеткой бокал и рассматривая бутылки, но за бутылками — зеркало, а Франсуа — бармен с многовековым стажем. Поворачиваясь, он выпячивает вперёд подбородок...

Липкин делает пальцем движение, словно заводит лопасти вертолёта. Франсуа кивает и появляется через полминуты с бутылкой розового шампанского, обёрнутой полотенцем и со стаканом виски, в котором тренькает лёд.

— Ты упрямый? — утвердительно спрашивает она. — Ух, ты упрямый!

Он берёт её влажную руку и подносит к губам. Он целует этот флоридский загар, затылком чувствуя, что на них смотрят со всех сторон.

— Пап, я буду плакать... И весь мой мэйк-ап поплывёт. И тогда я опоздаю на спектакль...

— В Ялте ты никогда не плакала. Ты только хохотала...

— В Ялте мне было три года. А сейчас мне двадцать девять!

— Научили, — говорит он, вздыхая. — Научили мою кису плакать...

— Ага, — говорит она язвительно, — ты ещё добавь — злые люди... Ну, пойдём?

— Я не пойду, — говорит он тихо. — А тебе пора. Третий звонок.

Рабочие сцены бросают сигареты и исчезают в дверях служебного входа.

Она встаёт, как ему кажется, макушкой задевая ещё не зажжённую люстру, быстро допивает шампанское.

— Я твоё держу, — говорит она. — Никого не пущу.

— Не пускай, — отвечает он, жалко улыбаясь. — Его всё равно не займут, это моё место. На это проклятое кресло будут смотреть со всех сторон.

Она идёт к дверям кафе — и все головы поворачиваются ей вслед. Стройная, невероятно высокая, с тёмно-русыми волосами, уложенными как-то сложно, аккуратно и небрежно в то же самое время, с этой дивной шеей, которую кто-то там ей целует в её Нью-Йорке, с этой спиной, которая течёт и течёт не кончаясь, с этим её... уф...

Он поднимает стакан. Лёд почти растаял, всё же для сентября жара несусветная.

Она переходит улицу, и прохожие тоже поворачивают головы ей вслед. Цок-цок... Каблучки впиваются ему в сердце. Нет, не в сердце. В голову. И не в голову. А, иди ты...

Он допивает виски и поднимает руку, заводя лопасти вертолёт.

* * *

В Ялте они провели целый месяц. Ксения постепенно приходила в себя. Её угрюмость медленно рассасывалась, уходила в лимфу, вымывалась прочь. Ника была просто чудо. Заводная, на каких-то атомных батарейках, она смеялась, хохотала, а когда спала на раскладушке возле окна, улыбалась во сне. Она была вся розовая с голубым. Розовая нежная кожа, ярко-голубые глаза и золотые-золотые волосы. Это теперь они потемнели. Она спрашивала странные вещи, а когда он ей отвечал, тарасила глаза, словно хотела его испугать.

— Кошка Мура может съесть собаку? — спрашивала она с самым невинным видом.

— Кошки не едят собак. Они их боятся.

— Даже маленьких собачек? Ма-а-а-леньких? — Она делала несчастное лицо, словно проникаясь беспредельной жалостью к кошке Муре, которая не может съесть даже вот такую, с пальчик, собачку...

— Кошки едят мышей, — отвечал он и тянулся за сигаретой.

— Будешь опять курить?

— Буду.

— А что мама сказала?

— А что она сказала?

— Она сказала: Липкин, не смей курить при ребёнке!

— Ага, — он с трудом поднимался из продавленного кресла, — она права. А мы пойдём на террасу...

И они сидели на террасе и смотрели на море, в котором было так мало лодок и кораблей, и смотрели на блестящие полированные листья лавровишни, и

на каких-то бойких красноголовых птиц, сновавших по веткам старого платана, и из кустов сирени, из-за помойного ведра выходила кошка Мура, чем-то явно недовольная, и специально, видимо, не глядя на террасу, шла через дворик прямо к деревянному сараю.

Комнату с террасой им сдавал отставной офицер. Очень несимпатичный, неразговорчивый, но которого, к счастью, почти никогда не бывало дома. Каждое утро, и даже в воскресенье, он выводил из сарая сильно побитый мотоцикл с коляской, прилаживал на голове какой-то танкистский кожаный шлем и укатывал в сторону симферопольского шоссе, пугая соседских кур и поднимая облако мягкой южной пыли...

Муж не давал Ксении развод, хотя знал, что Ника не его дочка, хотя Ксения с ним не жила вот уже три года, а без развода нечего было тащиться в ОВИР, и вся власть была на стороне этого большеголового пятидесятилетнего в те времена пупсика, вся, как её тогда называли, советская власть, потому что он был одним из её столпов, стропил, подпорок... А потом был второй аборт, опять дома, опять на обеденном столе, опять за 100 рублей с гарантированной анестезией, опять была эта пожилая пара гинекологов, с их незаметными пластиковыми пакетами, с большой сумкой, в которой они утащили что-то, про что она, малость усатая с морщинистым лицом, еврейка, сказала ему в дверях, словно поздравляя: «Мальчик!» И добавила: «Увезите её отдохнуть. Чтобы она переключилась. Нехороша она, а? По крайней мере, депрессия...»

И они прожили целый месяц в зимней Ялте, тёплой и солнечной, почти не разговаривая, гуля по набережной, до Ливадии и обратно, раз в три дня отправляясь на рынок, покупая у толстых хохлушек кур и камбалу, тархун и укроп, пирожки с луком и яйцом, а у соседей — парное молоко для Ники, творог и мелкие хрусткие яблоки.

А потом опять была Москва и скитание по квартирам, и какие-то переводы, которые он выбивал с трудом, и отказы в редакциях и, наконец, та её последняя съёмка в фильме, который вышел без неё...

Как она была счастлива, что сам Тумаев пригласил её сниматься! Как ожила! Как порозовела, вновь стала подвижной, бойкой, задиристой, смешной... Теперь она время от времени говорила ему за ужином: «Налей и мне». И он наливал ей рюмку старки, и она, глядя на него почти счастливыми глазами, опрокидывала голову назад, а потом, тряхнув пышной гривой, говорила: «Ух, хорошо пошла, мерзавка...»

Они остались с Никой вдвоём. Ника никогда не была обузой. Она спала, когда нужно было спать, весело ела кашу, но на ночь требовала сказок. И он сидел, закрыв глаза в полутьме, и тихим голосом рассказывал ей бесконечные истории, которые выдумывать для неё было легко и приятно. Иногда он жалел, что не записывает их на магнитофон, а она их слушала, иногда тихо переспрашивая, лёжа

с открытыми глазами, и он продолжал, а потом замечал, что глаза её закрыты, и что маленький кулачок подпирает подбородок, а колени подтянуты к груди... Он накрывал её сползшим одеялом и уходил на кухню.

Вот и всё. Это было — всё. Больше ничего не было. В какой-то гостинице возле Таллина, почти в конце съёмки, Ксения — усталая, счастливая, после ужина с друзьями, где изрядно выпила — позвонила ему в Москву. Голос её был сонным, подводным, она сказала, что всё прекрасно, что Тумаев её обожает, что он всем доволен, что он говорит, что она — гигант. И что скоро она вернётся, всё остальное будут снимать на студии...

От Тумаева он узнал, что она приняла снотворное, какую-то приличную дозу, и что чулки, которые сама выстирала в ванной, она повесила на электрический обогреватель. Пожар заметили не сразу, гостиница была почти пуста... О степени ожога было бесполезно спрашивать. С Ксенией было покончено, Ксении просто не было.

Её, бывший теперь, муж приехал за Никой. Он имел право. Ника была записана его дочкой. Он приехал с какими-то бугаями, явно комитетчиками. Ника не хотела ехать. Он впервые видел её перепуганной. Но он обещал ей, что они увидятся скоро. Очень скоро. «Я тебе обещаю». И он поцеловал её мокрое лицо, и она ушла не поворачиваясь, как ушла бы Ксения. И он знал, что губы её жаты, и что на мокром личике её пронзительно-синие глаза смотрят прямо-прямо и ничего не видят.

И вот они встретились. Двадцать шесть лет спустя. В день премьеры его пьесы. Которую он не хочет видеть. В театре, престижнее которого в этом городе только Старой Комедии. Она прилетела из Нью-Йорка, прикатила из Руасси на взятом в прокат «ягуаре». У неё была своя фирма, она жила рядом с Центральным парком, она хотела, чтобы он срочно перебрался к ней...

* * *

По времени, по тому, как оно дёргалось и вдруг перестало, он знал, что спектакль кончается, что через несколько минут появятся первые ручейки зрителей, застроятся к ограде Люксембургского сада, что на служебном выходе набухнет толпа, и все будут вертеть головами, и тогда нужно будет встать и пойти.

Франсуа сам принёс стакан и блюдечко с маслинами. Франсуа хитрил: льда было как в Антарктике, виски — лишь на донышке. Ладно, он своё принял. На этом можно дотянуть и до полуночи.

Ника появилась неожиданно, словно вошла сквозь стену, не через дверь. Лицо её сияло.

— Дурак! — сказала она. — Липкин, ты дурак! Все тебя вызывали. Они тебя обожают! Тебя обожают сотни людей! Ты понимаешь? Не только я, а ещё все эти в зале и на сцене!

Она положила в мелкую лужицу на мраморе стола — программку. Он заметил, что рука у неё чуть-чуть трясётся. На программке, сначала по-русски, потом по-французски, было написано: «Грег Липкин. “Три Сестры в Вишнёвом Саду Дядя Вани”. Комедия в двух с половиной актах».

Франсуа принёс шампанское. Она выпила залпом, и он налил ей второй бокал.

— Thank you, Francois, — сказала она на чистом американском. — I like this pink one...[1]

— Я тебя приглашаю на ужин, — сказала она ему. — Пойдём? Ну, пап? Только скажи куда! И давай всё же пройдём мимо этих, у служебного, а? Хотя бы так — как бы мимо...

Он взял её под руку, она чмокнула его в макушку, и они пошли к колоннам театра, к служебному входу, к людям, которые вдруг все повернулись в их сторону, пошли через крошечную неправильной формы площадь, через двадцать шесть лет, под вспышками фотокамер, под мелким тёплым неожиданным дождём... И она бубнила ему что-то в самое ухо, и единственное, что он разобрал, было:

— И ты будешь жить у меня, у меня гигантский пентхауз, и три кошки, и одну зовут Мура...

— Ага, — сказал он. — И она ест собак...

— Я их покупаю у корейцев, за углом, — смеялась она счастливым смехом, — в любое время дня! Ты знаешь, корейцы у нас открыты twenty-four seven...[2]
2007

[1] Благодарю вас, Франсуа. Мне понравился этот розовый первый... (англ.)

[2] Круглосуточно, семь дней в неделю (англ.)